

Сегодня

Я быстро иду по мокрому снегу. Он не хрустит по-зимнему, а хлюпает, как пюре, которое приятнее есть, чем в него наступать. Уже чувствую влагу в своих тонких дешёвых сапогах, но меня это не беспокоит. Не сегодня. Вокруг – почти никого. Лишь пара человек с пустыми лицами повстречались по дороге. Мои попутчики – только безмолвные тяжёлые многоэтажные дома. Их серый болезненный вид наводит тоску и провоцирует головную боль. Только тёплый, немного дразнящий ветер помогает мне слабо улыбаться, словно отщекотки. Близится весна.

Решаю выйти из переулка на проспект. Здесь меньше снега, но больше шума из-за машин. А дома такие же угрюмые, обшарпанные, расколотые. Ветер шепчет бодрее, проникая в мой капюшон, играя моей чёлкой. Но мне надоело, уже неинтересно. Весны больше не хочется.

Я смотрю на свои маленькие блестящие часы. Стекланные камешки вокруг циферблата переливаются даже от бледного солнечного света. Минутная стрелка показывает на 47. Часовая – на 4. А мне бы хотелось позже. Я снова приду рано.

Смотрю вперёд и вижу низкую железную узорчатую оградку. Она окаймляет прямоугольную площадку, частично покрытую полуразбитой плиткой. На ней стоят две скамейки, массивные, изрисованные шаблонной фантазией хулиганов, и железные погнутые урны. Толстопузые гладкие и взъерошенные голуби сражаются за мокрую шелуху семечек. Моё сердце бьётся сильнее, но не от радости и не от волнения. От страха. Скоро должен прийти Костя.

Я звонила ему утром, убедила сегодня

увидеться, потому что по телефону придётся долго объяснять. Он не хотел идти, как обычно придумывая причину своей занятости, как для глупенькой девочки. Я не глупенькая. Я умею распознавать обман, но всегда уступаю Косте. Не хочу владеть его волей. Но в этот раз мне пришлось грубо прервать Костю и восклицательно, даже истерически напряжённо закончить фразой вроде «встретимся там же». И не дав ему ответить, я бросила трубку. Станный способ помириться с молодым человеком. Простить ему очередную выходку. Нет, я просто истеричка. А он не перезвонил. Значит, придёт. Как же узнать, что он думает обо мне?

Сажусь на холодную скамейку. Думаю о Косте. Мой Костя: худой, немного сутулый, с длинными руками. Сероглазый, с ямочкой на подбородке. Не смазливый, но есть в нём что-то такое мужественное.

Голуби бегут ко мне, думая, что я буду их кормить. Но я сначала смотрю на пернатых попрошайек, а потом переключаюсь на обклеенную фотообоями стену невысокого здания напротив площадки. Там изображены безмятежные пальмы и голубое прозрачное море. Так странно и фальшиво это выглядит на фоне грязного снега и нескольких голых деревьев с криво торчащими ветками! Так фальшиво, как мы с Костей, когда находимся вдвоём среди других влюблённых парочек. Наверное, мы – тоже лишь фотообои на фоне реальных чувств людей. Но остановить эту ложь, увы, мне не хватает сил. Иначе бы я не вызвала его на встречу сегодня. Видимо, и Костя не может: иначе бы он давно ушёл.

Пропадает на пару дней, но всегда возвращается, извиняясь.

Сердце бьётся так, что невозможно усидеть на месте. Я встаю и начинаю ходить, беспокоя голубей. Хочется достать из кармана kota и швырнуть в эту назойливую пернатую кучку, чтобы он их разогнал. Но его у меня нет и быть не может. Поэтому нащупываю мелочь и бросаю в них. Однако звон монет их не пугает, а, наоборот, они набрасываются на них, как на крошки хлеба, и галдят громче, возмущённые обманом. Какие привередливые! Я же безоговорочно поглощаю подобную подмену. Так проще. Я хуже голубя.

– Этим их не накормишь, – прерывает мои мысли мужской голос.

Я оборачиваюсь. Передо мной стоит молодой парень в чёрном пальто и ярко-зелёном шарфе. Он невысокий, чуть выше меня. Ветер развеивает его волнистые русые волосы. На щеках легкая небритость. Он подходит ближе и кидает прожорливым птицам хлебные крошки. Теперь они довольно галдят. А он смотрит на меня каре-зелёными глазами. Молча протягивает мне кусочек хлеба. Я беру, не смея ему возразить и оторвать от него взгляда.

Он снова кидает голубям хлеб, и я тоже начинаю его крошить, слегка развернувшись в сторону от знакомого.

– Купил его по дороге, – говорит он, отвечая на мой немой вопрос. – Здесь так много голубей и уток... Пока гулял, скормил пару булок. Искал метро, но запутался в переулках.

– Оно в трёх кварталах от этого проспекта, – по привычке быстро отвечаю я, вежливо, как научили ещё в детстве.

– Какая линия?

– Красная.

– Красная... Мне нравится красная. Особенно мозаичные полотна на стенах. Хотя есть в них что-то странное, негармоничное...

Хлеба больше нет.

– Эти фотообои на стене совсем никуда не годятся, – продолжает говорить незнакомец. – Я бы перекрасил стену в один цвет. Например, в твой цвет глаз: фиалковый.

Неожиданное предложение смущает меня. Но мне оно нравится.

– Виолетта, – говорит незнакомец. – Я бы назвал тебя Виолетта.

– Красиво, но я Аня. А ты, наверное, Альфред Жермон¹.

– Нет, – он смеётся. – Андрей.

Спрашиваю, почему Виолетта. Он отвечает, что я загадочна, как луна, мила, как фиалка. Я говорю, что его слова слишком пошлы и слащавы.

Незнакомец смеётся. Поднимает голову и смотрит в небо.

– Скоро начнётся дождь, – говорит он. – Надо идти.

Он снова смотрит на меня. Его взгляд, живая улыбка, наклон головы – всё манит и пугает. Стою и не решаюсь ничего ответить.

– Я солгал: я знаю, в какой стороне метро, – беззастенчиво признаётся он. – Просто увидел тебя, такую печальную, утомлённую... Не смог пройти мимо... Мне кажется, что сегодня мы нужны друг другу.

– Только сегодня?

– Сегодня, чтобы понять, чего хотим завтра...

– Неплохо сказано... – Не понимаю: то ли заигрывает со мной, то ли дурачится. Хочется сказать, чтобы уходил, оставил меня. И не хочется.

– Ты так глубоко погружена в мысли. Много хмуришься, – говорит он. – Успеешь в жизни нагрустить. Пойдём со мной.

– Стобой? Куда? Зачем?

Он уверенно берёт меня за руку и ведёт за собой. Я послушно иду за ним. Он, как ни в чём не бывало, рассказывает, где гулял сегодня. О старом Троицком соборе, где синеголубые купола украшены золотыми снежными звёздами. О скульптурах и пушках на его территории. О часовне собора, что одиноко стоит на другой стороне перекрёстка. Его горячая ладонь согревает мои пальцы. Сердце моё стучит так же быстро, но уже не от страха. Я иду и слушаю, пытаюсь понять: зачем я это делаю.

Незнакомец выводит меня на набережную. Он указывает в сторону уходящего солнца и говорит:

– Здесь зимой солнце перед закатом окрашивается в бледный лафитный цвет и растворяется на горизонте коралловым.

Мне стыдно, потому что в моём понимании цвета оно просто красное или алое.

– Ты художник?

Он кивает. Солнце осколком светит сквозь дымчатое небо. Ускоряясь, начинается дождь.

Незнакомец смеётся. Он говорит, что впервые увидел зимний дождь именно в этом городе. Ему больше знакомы снежные бури и мартовские метели.

Он снова ведёт меня куда-то. И снова рассказывает об архитектуре города. Только теперь его голос звучит более звучно, эмоционально, ритмически неустойчиво и сопровождается жестикующей. Но мне нравится, хоть я и молчу. И время от времени, когда он отпускает мою руку, я иду за ним сама. И мне уже совершенно всё равно, кто он такой, куда меня ведёт и чем всё может закончиться.

Незнакомец заводит меня в арт-кафе. На потолке тускло светят маленькие люстры-светлячки, тесно расставлены столы и стулья, словно в детской комнате. Мы выбираем столик на двоих в уголке и заказываем чай. Он сидит передо мной в тёмно-синем свитере. Он говорит, что я первый человек, с которым он гулял по городу. Что я первая, с кем он так долго разговаривает. И я первая, с кем он хочет поделиться художественными открытиями своего, как ему кажется, зарождающегося собственного стиля. В неярком освещении его глаза кажутся тёмно-кофейными, кожа смуглой. Синий свитер придаёт его образу томность и холодность, но тёплая улыбка согревает.

Он говорит, что обязательно нарисует меня. Особенно мои печальные глаза. Говорит, что я кажусь ему очень трогательной в шоколадном пуловере. Что цвет моей кожи имеет как минимум три оттенка. Я смеюсь и говорю, что это пудра с румянами на лице. Он тоже смеётся.

Он рассказывает, как переехал сюда из далёкой провинции покорять выставочные залы культурной столицы. И неожиданно спрашивает, чем занимаюсь я. Делает предположение, что в юридической сфере, потому что я неразговорчива и у меня постоянно задумчивый взгляд. Нехотя признаюсь, что работаю в магазине одежды в торговом центре. Чувствую, как щёки наливаются неприятной теплотой. Снова от стыда. Мне очень часто бывает стыдно: за свои поступки, за свою жизнь, за своё присутствие в этой жизни. Но незнакомец улыбается и говорит, что это хорошая работа. Спрашивает, где я училась. Признаюсь, что на филфаке, но

не захотела работать по специальности. Он смотрит в сторону, на миниатюрную картинку, висящую на стене.

Я тоже смотрю на картинку. На ней изображены мелкие цветочки, сиреневые, розовые, размытые, на зелёном фоне.

– А как его зовут?

– Кого?

– Того, кто подарил тебе серебряный браслет.

Мне неловко. Его подарил Костя, когда мы только начали встречаться.

– Не помню, – обманываю я.

Он говорит, что сейчас я выгляжу несчастной. Что любовь должна приносить радость, а не грусть. Должна наполнять, а не истощать.

– Я тоже думал, что любил. На самом деле, я просто боялся остаться один.

Он берёт меня за руку и просит прощения, если обидел. Говорит, что это только его мысли, его мнение, его взгляд. Что я должна быть тем, кем хочу быть. Встречаться с тем, с кем хочу быть. И ни у кого не спрашивать об этом, не перед кем не отчитываться, не оправдывать чужих ожиданий. Что у меня своя жизненная дорога.

Я начинаю улыбаться. Его слова льются ручьём, успокаивая меня.

– Ты должна писать. Напиши всё, что видела в этой жизни, свои мысли, свои чувства. Не прячь это только в своей голове. Расскажи людям. Ты умеешь – я уверен.

Мне немного страшно от его слов.

К нам подходит официант. Сообщает, что кафе закрывается. Мы одеваемся и выходим на улицу. Уже темно и холодно. Он набрасывает свой шарф на мои плечи.

Я говорю, что метро уже закрыто и мне надо вызвать такси. Он кивает, и я набираю номер телефона. Пока мы ждём автомобиль, просто молчим, держась за руки. Морозящий дождь со снегом. Назойливый гул и фонари машин. Густое тёмное небо. Сонные мокрые здания.

– Ты для меня как первый зимний дождь: неожиданный, но приятный.

Чувствую, как накаляется кровь под кожей. Становится жарко. Тяжело, но вместе с этим легко дышать. Моему телу тесно под пальто, словно я стала выше и крупнее. Я держу Андрея за руку, мысли пробегают так быстро,

что не успеваю ухватить именно ту, которую нужно высказать вслух.

Рядом с нами останавливается машина. Андрей открывает дверцу. Я неторопливо сажусь на сиденье. Он берёт мою руку и говорит, что я как мимолётное видение, но, к счастью, реальное. Что ко мне можно прикоснуться.

Водитель торопит нас. Андрей закрывает дверцу. Я смотрю на него сквозь дождливое стекло. Он улыбается. Я уезжаю.

На мне его шарф. Он мягкий и немного влажный. Окунаю лицо в нежную ткань. Мне тепло и радостно. И мне не стыдно.

Я дома. Мама уже спит. В моей комнате душно от включённого тепловентилятора. Я сажусь на кровать. Тут же слышу звуки вибрации из сумочки. Лениво достаю мобильник и вижу, что мне звонили раз десять и написали раз пять. Все звонки от Кости. Костя...

Я совсем забыла о нём! Наверное, он пришёл на встречу и ждал меня. Может, стоит отправить ему смс-сообщение: «Прощай». Жестоко, но правдиво. Мы и так слишком долго врали друг другу. Он будет только рад. Не надо долго и мучительно вести неприятный разговор, выслушивать друг друга. Просто – прощай. Без обид и сожалений, наконец-то. И без страха одиночества. Как говорил Андрей. При этой мысли сердце начинает биться слишком быстро и тревожно.

Сажусь на пол. Неожиданно заходит мама: видимо, услышала мои шаги. «Детка, ты только пришла? Так поздно...» Я говорю ей, что всё в порядке. Что устала и хочу спать. Она целует меня в лоб и, больше не задавая вопросов, уходит. Сон не идёт. И чем больше я заставляю себя уснуть, тем более вспоминается Андрей. От этого становится ещё жарче. И страшно... Что будет завтра?

В окно пробирается дневной свет. Сколько я спала? Не знаю, но хочется встать и пойти прочь из дома. Всё равно куда, лишь бы не сидеть в комнате.

Слегка кружится голова. Умываю только лицо и по привычке наношу крем на сухую кожу. Запутанные волосы стягиваю в хвост. Накидываю куртку и зелёный шарф и ухожу из сонной, душной квартиры.

Радует яркое солнце. Я шурюсь, с удовольствием вдыхаю воздух: сегодня дышится свежее. Под ногами ничего не хлюпает: снег за ночь растаял. Много звончатых капель падает с крыш и выступов домов, правда, таких же сонных и унылых, как вчера.

Я не знаю, куда идти, а ноги ведут меня к фальшивым фотообоям на стене здания. Вспоминаю о Косте, но уже боюсь ему писать. Почему? Ведь я... я по-прежнему одна. И похоже, что ложь – единственное средство от одиночества. Эти бесконечные ссоры и обиды, взаимное враньё... И они реальны, и они у меня есть, а моё знакомство с Андреем теперь кажется таким иллюзорным и прозрачным.

Вижу знакомую оградку. Вижу площадку и вечно голодных голубей. Подхожу к невзрачным скамейкам, смотрю на фотообои. Смотрю и понимаю, что они вовсе не голубые. Они ультрамариновые. Сажусь на скамейку, вдыхаю тёплый воздух. Сегодня действительно дышится по-другому. И деревья рядом не скрюченные, а изящно изогнутые. И голуби пёстрые, цветные, пузатые, но милые.

Я беру телефон и отправляю короткое сообщение Косте. Прощай. Больше никакой фальши в моей жизни. По крайней мере, с моей стороны.

– Прощай? Что это значит? – Я оборачиваюсь и вижу перед собой Костю. Он курит. Пальто расстёгнуто. Глаза уставшие, смотрят холодно, равнодушно.

В этот миг лёгкое дуновение ветра ласково касается моей щеки.словно шепчет: «Виолетта, Виолетта». Образ Андрея ярко проступает в памяти. Улыбка, речь и нежность прикосновений.

– Почему ты пришёл?

– Ты просила, – говорит он, пуская дым.

– Я просила вчера.

– Вчера было некогда... Я писал тебе, сказал, что приду сегодня.

– Сегодня меня уже могло не быть здесь.

– Но ведь ты здесь.

– Здесь. Но мне сегодня уже не нужно...

Я прячу руку в карман и достаю из него ключи.

– Сегодня я ухожу. – Я подхожу к Косте и отдаю ему ключи. Мне хочется, чтобы он

расстроился, смутился, но он берёт ключи и говорит «ладно». «Ладно», – повторяю я и начинаю пятиться назад. Ветер всё сильнее манит меня пойти за ним. Костя недоумённо смотрит на меня, а я уже смотрю сквозь него, мимо него...

– Ты уверена? – вдруг спрашивает он.

– Я уверена, что, когда солнце садится

за горизонт, оно окрашивается в бледный лафитный цвет и растворяется коралловым.

– Красным, что ли? – горько усмеётся Костя.

– Красным, – улыбаюсь я. Отворачиваюсь и бегу, словно лечу, вместе с ветром, туда, куда мы вчера ходили с Андреем. Возможно, навстречу с ним.

Чужая

Тётя Тая подала мне чашку с обломленной ручкой.

– Другой не было, – с наигранной вежливостью сказала она.

Я лишь улыбнулась в ответ и отпила горькую жидкость. Чай оказался слишком крепким. Попросить молока я не решилась, а сахар не люблю. Отодвинув чашку, я уткнулась взглядом в синие салфетки. Тётя Тая, захлёбываясь, рассказывала об очередных финансовых трудностях и болезни бабушки. Отец полуслушал, полудремал. Мы оба не любили вникать в долгую монотонную болтовню тёти.

Впрочем, мне всегда было некомфортно находиться в гостях у своих родственников. Трудно сказать, почему конкретно. Может, мне не нравились их разговоры, их манера общения. Меня никогда не покидало ощущение, что мне не рады, что смущаются моего присутствия, стесняются со мной заговорить. Даже двоюродные сёстры и братья, будучи моими ровесниками, не стремились поддерживать со мной отношения. В детстве я обижалась на родственников, жаловалась родителям, но они всегда как-то странно реагировали: то скажут, что я выдумываю или капризничаю, то начнут оправдывать их и резко сменяют тему.

– Солнышко, они... тебе показалось. Иди к маме: помоги ей на кухне, – мог сказать отец и уткнуться в газету, словно ему именно сейчас важно что-то там прочесть, или мог уйти на балкон покурить.

И я перестала жаловаться.

Наверное, потому, что мне всегда было легче смириться. Хотя я считалась папиной дочкой, но была совсем не похожей на него. Мой отец, Александр, был всегда энергич-

ным, бойким, даже немного резким в общении. Высокий, широкоплечий брюнет, с годами располневший, но не утративший ловкости. Его голубые глаза часто смотрели холодно, строго, но на меня – только с теплотой. Широкие брови, прямой нос, тонкие губы и эспаньолка придавали ему образ мужественного воина или капитана корабля, теперь уже постаревшего. На лице появились «гусиные лапки». Слегка распухли щеки, шея. Но он остался обаятельным. Его уважали и немного боялись.

А я была похожа на маму, Ирину: светлую, немного бледную и худую, с невыразительным ртом и карими глазами. Она была актрисой. Роли ей доставались не главные, но мама всегда играла их ярко и зрелищно. Если это была озорная старушка, то такая шапокляк, что сама шапокляк, если бы существовала, почувствовала себя бы ангелочком. Отцу нравилось, как она играет. За это он в неё и влюбился. Хотя в жизни мама была спокойна и любила уединение.

Когда я поступила в среднюю школу, она умерла. Она просто стала быстро чахнуть, и никто из врачей не знал почему. Никто не осмелился поставить точный диагноз.

Может, и поставили, но мне ничего никто не сказал.

– Уведи Нику, – обычно просил отец бабушку Нору, свою маму, когда мы приходили в больницу. Она вводила меня на улицу, сидела со мной, расспрашивала про школу, покупала мороженое. Мне и в голову не могло прийти, что мама умирает.

Бабушка каждый день навещала её, потому что относилась к ней как к своей дочери: приносила ей любимые сладости, хотя она уже не могла их есть, книги, записи с музы-

кальных концертов и спектаклей, которые проходили в городе.

Безымянная болезнь забрала маму за несколько месяцев. Похоронами занимался мой отец, потому что родителей у мамы уже к этому времени не было. Её дальние московские родственники даже не приехали. Мы никогда не общались с ними. Бабушка рассказала почему: мама пренебрегла семейной традицией – не захотела стать врачом. Она окончила театральную академию и уехала работать в провинциальный театр. Она не хотела возвращаться в Москву.

– Не всегда родители могут позволить своим детям сделать собственный выбор. Чаще всего они его навязывают, – сказала бабушка. – Даже не замечая этого.

Отец тяжело горевал. Но по-своему. Он каждый день бодро ходил на работу, а дома выпивал пару бокалов коньяка и сидел в комнате, слушая джазовую музыку. Мама тоже любила её слушать. Особенно в дождливые дни. Сидела на подоконнике с чашкой чая.

Я же пряталась в комнате, пытаюсь заглушить боль рисованием, создавая новые виды кораблей. Моих кораблей. Это успокаивало. Ещё успокаивало то, что жив отец. Он всё-таки больше занимался моим воспитанием. Мама жила в своём непонятном для меня зачарованном мире. А мир отца был реален и открыт: репетиции, спектакли, гастроли, праздники – немного безумный, но чёткий ритм жизни.

После смерти мамы у меня началась другая жизнь. Вся домашние заботы легли на плечи бабушки и мои. Она приходила к нам, чтобы привести в порядок квартиру и наготовить еды. Тётя Тая, сестра отца, у которой жила бабушка, не разделяла её альтруизма.

– Опять к ним собираешься? – как-то раз услышала я в трубке телефона её голос, когда разговаривала с бабушкой. – У тебя здесь своя родная внучка подрастает.

– Вот и займись её воспитанием: совсем избаловала девочку, – неотчётливо ей ответила она, видимо, прикрывая трубку рукой, чтобы я не услышала. Потом ласково мне добавила. – Ника, я завтра приду.

– А почему ты к нам не переедешь? Тогда тебе не придётся ходить.

– Перееду. Только с папой твоим поговорю прежде.

Но этого не случилось. Наоборот, когда я перешла в старшую школу, бабушка заболела и вовсе перестала ходить.

И даже не поэтому я чувствовала себя чужой в своей семье. Что-то было во мне, отличавшее от родственников. В основном моя семья, не считая маминой линии, состояла из людей творческих: среди них были театралы, художники, музыканты, писатели. Мне же нравилось решать уравнения и чертить. В моём детском альбоме мало картинок с животными и цветочками и смешно нарисованными родителями. Они пестрят геометрическими фигурами. Я сама конструировала домики куклам из картонных коробок и разбирала машинки. Собирала конструкторы, пазлы, разбирала картриджи для игр в «денди». В школе я любила математику и физику. Отец, не обращая внимания на мои увлечения, отдал меня в театральную школу. Бабушка больше интересовалась моими успехами в учёбе. Именно она отвела меня в студию технического моделирования.

Позже я сама начала собирать модели кораблей. Наверное, потому, что мне часто снились моря и океаны. Я читала книги о пиратах и морских приключениях Жюль Верна, Стивенсона и Дефо. По их описаниям я рисовала корабли, мечтая о поездке на море. С трудом уговорила отца съездить на Чёрное море, хотя он не переносил жару и яркое солнце. Вопреки моим ожиданиям, поездка не вызвала ярких впечатлений. Море оказалось ещё чудеснее и необъятнее, чем на фото или видео, но всё же я ждала других ощущений: не было внутреннего взрыва. Только лёгкий детский восторг.

После школы по наставлению отца я поступила в архитектурно-художественную академию на графика. Хотя грезилась о морской академии в Петербурге. Несколько раз звонила туда, уточняла условия поступления. Обдумывала разговор с отцом, чтобы уговорить его отпустить меня учиться в Петербург. Но не решилась. Я знала: он мечтает, чтобы я работала в театре. Пусть не актрисой, на худой конец художником или мастером сцены.

Отучившись год, я снова решила съездить на море. Но планы неожиданно сорвались:

болезнь бабушки Норы дала осложнение. Врачи сказали, что ей осталось прожить несколько месяцев. Несмотря на уговоры, бабушка в больницу ложиться отказалась. Тётя Тая вызвала отца, чтобы переговорить об этом. И, видимо, в очередной раз попросить деньги.

Вот мы и пришли, и более часа слушали её жалобы.

– Вот упрямая! – вот уже в третий раз повторила тётя Тая, но громче, от чего отец вышел из дремоты. – Хочет, чтобы мы сутками сидели возле неё и ублажали. А работать когда? У меня столько заказов сейчас на лето: ландшафтных проектов нынче много. А Митя – сам знаешь: если не подыщу ему интересную работу – снова впадёт в утопию своей депрессии. Или запой.

– Найми сиделку, – посоветовал отец.

– На что? Верочка на стажировку собралась в Москву: сам понимаешь, какие там цены.

– Я оплачу работу сиделки, – заверил он. – Ты, главное, найди. А Ника помогать будет иногда.

От такого неожиданного предложения-полуприказа я даже выпрямилась, переключив своё внимание с синих салфеток на отца. Потом посмотрела на тётю, которая в этот момент на меня взглянула как тигр.

– Ты же на море собиралась? – оскалилась она.

– Море подождёт, – механически ответила я. – Бабушка нуждается в помощи: я могу посидеть с ней, поухаживать.

– Вот и славно, – подытожил отец. – Дай ей запасные ключи.

Тётя согласилась. Может, потому, что она не хотела перевозить бабушку к нам. Хотя ухаживать ей за ней было некогда. Так что впервые мне представился случай быть постоянным гостем в квартире тёти Таи.

– Пап, а почему она не хочет, чтобы бабушка к нам переехала? Так ведь будет всем проще, – решила позже спросить я, потому что не хотела ходить к тёте Тае домой.

– Наверное, ревнует. Сходи в магазин: молоко закончилось, – ушёл он от ответа.

Бабушка быстро теряла силы: ведь ей было 89 лет. Я приходила почти каждый день и немного помогала сиделке: в уборке и гигиенических процедурах. В основном

читала бабушке книги. Она то засыпала, то, наоборот, бодро комментировала авторские промахи. Иногда мы просто разговаривали о литературе, о музыке, о театре. Я ей много рассказывала о морях и кораблях, подлодках и парусниках. Она радовалась моим познаниям, говорила, что мне не стоит забрасывать свои увлечения. «Здесь нет ни одного корабля, а ты их так любишь. Гены, наверное», – загадочно произнесла она.

В один из солнечных душных дней, почти под вечер, нам позвонила тётя Тая и попросила срочно прийти: бабушка Нора нас звала. Когда мы прибыли, врач уже уходил.

– Как она? – сразу спросил отец, преградив ему дорогу у порога.

– Плохо, но стабильно, – равнодушно ответил тот. – Жить ещё будет.

– Ну, слава богу, – выдохнул отец.

Он долго сидел с ней в комнате. Я же – одна в зале. Рассматривала скучный интерьер. Тётя Тая, хоть и была хорошим дизайнером, но квартиру устала недорогой мебелью, купленной в обычных магазинах. На создание собственного интерьера ей всегда не хватало денег, которые она тратила на мужа и дочь.

Пришла цветущая Вера. С её кожи ещё не сошёл курортный загар.

– Что-то ты бледная, – ангельски пропела она. Удивительно, как красивая внешность не совпадала с её деревянным характером. – В прошлом году вернулась с моря смуглая, посвежевшая.

– Недо этого сейчас.

– Ну да, ты же помогала сиделке ухаживать за ней. Несколько лет на пару часов заходила, а теперь целые дни здесь проводишь. На наследство претендуешь? Ради этого можно и отложить поездку, да?

– Да пошла ты, дура, – сказала я и испугалась неосторожно вырвавшихся слов. Не сдержалась, опустила до грубости.

В эти минуты появился отец.

– Ника, бабушка успокоилась. Сходи к ней.

– Может, и мне сходить? – вмешалась Вера.

– Иди, если хочешь.

Но Вера только поморщилась.

В комнате бабушки было прохладно и пахло её любимым эфирным маслом – жасмином. Она, как всегда, лежала под одеялом.

– Присядь, – слабым голосом попросила она.

– Как себя чувствуешь, бабуля? – спросила я, взяв её холодную руку. – Ты замёрзла.

– Всё хорошо. Но боюсь, что не протяну долго.

– Ну что ты говоришь, – непринуждённо сказала я. – Мы ещё с тобой в парк ходим, покормим уток и голубей.

– Нет, не ходим, – возразила она. – Поэтому кое-что я должна отдать тебе сразу, чтобы другие не забрали. Возьми книгу Жорж Санд «Консуэло».

Я подчинилась. Старая книга стояла в верхнем ряду с краю, ничем не отличаясь от остальной коллекции. Однако когда я её взяла, поняла, что она почему-то тяжелее, чем ей положено быть.

– Это секретная шкатулка. Открой её.

Мне это не сразу удалось, потому что замок слегка заедал. Бабушка терпеливо ждала. Когда я открыла шкатулку, то увидела внутри бархатный мешочек синего цвета.

– Дай мне его.

Я послушалась. Бабушка долго пыталась его развязать, а когда смогла, улыбнулась и достала оттуда красивое сапфировое ожерелье, серьги и кольцо. Радужные зайчики заиграли в моих глазах.

– Теперь они твои, – сказала она, положив мне их в руку. – Когда-то я подарила их твоей маме в подарок на свадьбу. Однажды она вернула его и попросила не спрашивать, почему. Я не стала. Но считаю, что теперь это должна передать тебе.

– Мне? Но почему? Разве это не фамильная драгоценность? Мне кажется, другие расстроятся, если ты мне её отдашь.

– Расстроятся. Но это моя воля, кому отдать. А они должны уважать мой выбор. И ты тоже. Я хочу, чтобы это принадлежало тебе.

– Хорошо, бабушка. Мне приятно, что ты даришь мне такую ценную семейную вещь.

– И я рада, – снова расчувствовалась она, вытирая слёзы. И загадочно добавила. – Спасибо, что сделала моего Сашу счастливым. Он души в тебе не чает.

– И я его очень люблю. И тебя тоже.

– Ну ладно, будет, – махнула бабушка носовым платком. – А теперь иди к осталь-

ным. Положи обратно драгоценности в книгу и заberi с собой. Пока никому не говори об этом. А сейчас мне надо отдохнуть.

– Хорошо. Отдыхай бабушка...

Когда я вышла, все замолчали, устремив на меня вопросительные взгляды. «Ей лучше», – только сказала я.

– Почитать взяла? – перед самым выходом спросила тётя Тая, чётко сфокусировав взгляд на книге-шкатулке в моей руке.

– Да, – смутилась я, словно в чём-то провинилась.

– Приятного чтения...

Я долго не могла уснуть, гадая о том, почему мне бабушка подарила фамильные драгоценности. Стервятников хватало. Тех, кто их бы с удовольствием носил. Та же Вера. Хотя что здесь утаивать? Именно мне эту фамильную драгоценность никто бы не отдал. Я это понимала. Смущали меня только две вещи. Почему моя мама вернула их? И уж слишком странно звучала её фраза «спасибо, что сделала Сашу счастливым...». Казалось бы, ничего такого в этих словах нет, но в душу запали. Утром нам позвонила тётя Тая и сообщила, что бабушка умерла. Отец заперся в комнате и просидел там весь день. Я не тревожила его. Только на следующий день решила зайти и позвать завтракать. Он вышел и выглядел уже собранным, словно ничего не случилось.

Снова начались разговоры о похоронах, сборы родственников, то ли искренние, то ли наигранные рыдания. Я не плакала. Видимо, не дозрела до взрослых слёз, а детские уже давно иссякли. Пришла на похороны в чёрном платье и вуали. Не хотела, чтобы видели мои незаплаканные глаза. Стояла почти возле гроба, бросала землю на него. И всё равно не плакала.

На поминках помогала на кухне. Отец терпеливо общался с родственниками. Выглядел серым и мрачным, но спокойным. От этого он казался ещё более тучным и понурым. Более состарившимся.

На кухне пришлось терпеть тётини ядовитые взгляды и общаться с родственниками. Тётя шмыгала носом, но молчала. А я мысленно благодарила за безмолвие. В такие моменты не хочется ни говорить, ни тем более выслушивать гадости.

Потом пришла Вера. На ней висело мешковатое платье сине-чёрного цвета, которое она никогда раньше не надевала. Волосы были уложены в скучный пучок. Она неуклюже взяла нож и порезалась.

– Чёрт! – выругалась она, облизывая палец.

– Вера, – шикнула на нее тётя. Да и другие закачали головами. – Нельзя сегодня ругаться.

Достала ей лейкопластырь из кухонного шкафа и продолжила делать нарезку. Вера заклеила ранку, кривя губки.

– Что-то я впервые вижу тебя в женской шляпке, – пропела она, присев за стол напротив меня. – И в платье таком модном.

Я решила не отвечать. Но сестра не унималась.

– На похоронах любимой бабушки можно выглядеть и поскромнее. И поплакать.

Она театрально вздохнула.

– Эх, к этому бы стильному платью ожерелье бы подошло. Сапфировое, да Ника? Что же ты молчишь? А? Стыдно, что у бабки драгоценности украли?

– Вера! – снова шикнула тётя.

– Залезла в её шкатулку и украли!

– Прекрати!

– А что не так?! – взорвалась красавица, соскочив со стула. – Всё лето ей в уши напевала, книжки читала. Наверное, не только драгоценности прихапала. Может, и ещё чего.

Я размахнулась и со всей силы ударила её по лицу так, что она от неожиданности упала на пол. Родственники переглянулись, зашикали.

Кровь запульсировала в моих висках, а щёки запылали. И страх, и стыд перемешались во мне. Вдруг захотелось избить мерзавку за ядовитый язык.

– Ты что себе позволяешь?! – осуждающе сказала какая-то из тётушек то ли мне, то ли побледневшей Вере.

– Успокойся, Ника. Вера не понимает, что говорит, – сказала другая.

– Ещё как понимаю, – выдавила, вставая, Вера. – Воровка! Нагулянная мерзавка!

– Тише, тише, тише, – зашикали все, успокаивая возбуждённую Веру. Тётя Тая в испуге насильно вывела дочь из кухни. Одна из тётушек усадила меня, ошарашенную, за стол.

– Не слушай её, Ника, – сказала она. – Глупая девочка. Молодая ещё.

– Да, да, конечно, – только и ответила я, еле различая окружающие предметы. Всё как-то расплылось вокруг меня, зазвенело в ушах, застучало. – Всё в порядке, всё хорошо...

Но было нехорошо. Закружилась голова: никогда ещё гнев не выводил меня из равновесия. За стол с гостями я не села: уехала домой. Боялась, что увижу обидчицу и снова не сдержусь. Дома заперлась в своей комнате, забралась под одеяло и разрыдалась. Я ныла, громко, с натугой, даже, наверное, я звала и ждала маму, хотя уже не помню. Но некому было унять мою взорвавшуюся боль, прорвавшуюся сквозь дамбу многолетнего спокойствия.

Вдверь громко постучали.

– Ника, открой! – Строгий голос отца заставил меня мигом высунуться из-под одеяла и замолчать. – Открой, слышишь!

– Сейчас, – сказала я, приглаживая растрепавшиеся волосы и вытирая слёзы.

Он мрачно посмотрел на меня: лицо и глаза у него были красные, словно он был чем-то или на кого-то рассержен. Обычно он так выглядел в моменты, когда был недоволен труппой или режиссёром.

– Что это ты устроила сегодня?

– А что говорят? – Я приготовилась защищаться.

– Тебя хочу послушать. Уж ты-то мне врать не станешь. Разгалделись Тая с Верой – ничего не понял.

Мы присели на кровать. Я рассказала ему всё, что произошло.

– Она назвала меня воровкой. А ещё, – запнулась я на самом важном для меня месте. – Воровкой...

– Ремня ей не хватает, – процедил отец. – Девка растёт наглая и глупая. Но ты не переживай, дочка. Я её матерью поговорю.

Я склонила голову ему на грудь. Он слегка дотронулся рукой до моей головы, погладил большой ладонью.

– Ещё она назвала меня нагулянной мерзавкой...

Рука его остановилась и задрожала. Он резко встал, задышал.

– И в кого такая уродилась...

Он вышел из комнаты, оставив меня в недоумении. словно резко выключили звук на самом интересном месте фильма. Но пойти за ним я не решилась. В этот день мы больше не разговаривали.

В последующие дни отец уходил в театр с самого утра и до позднего вечера. По выходным – уезжал рыбачить с соседом пенсионером или ходил к сестре. Я понимала: он избегает общения со мной. Мне бы стоило успокоиться и не тревожить его. Но сильно задела меня слова сестры.

Мамины вещи мы сохранили не все. Большая часть из них – это книги и альбомы. Она любила фотографироваться, а отец потакал её слабости: тратил на это много денег. Достав коробку из кладовки, я вытащила их все, разложив вокруг себя на полу. Я пыталась найти ответы.

В альбоме с кожаной рыжей обложкой, к моему удивлению, фотографий оказалось мало. Много вырвано. В его подложке теснились снимки некачественные, почти чёрные, с размытыми силуэтами. А ещё чистый, но пожелтевший конверт. Я открыла его.

Там лежала фотография. На фоне залива моя мама стояла с коренастым молодым человеком в военно-морской форме. Они держались за руки и улыбались. На обратной стороне подписан год: май, 1992. И что-то знакомое сияло в его глазах, в уголках губ. И пугающее.

– В мае 92-ого мама ездила куда-то без отца... Они никогда не ездили порознь... – произнесла я вслух, словно мыслям легче пробиться через звуки. – Май 92-го...

Я родилась в феврале 1993 года. Родители говорили, что я не дождалась положенного срока, «скорее хотела увидеть мир...».

«Нагулянная мерзавка, май 92-го...» – как заведённая, мысленно повторяла я. Эти факты всё сильнее раздражали моё желание докопаться до правды. Поэтому когда хлопнула входная дверь, я бросилась в коридор встречать отца.

– Устал? – спросила я.

– Немного, – ответил он, неуклюже снимая ботинки.

– Пап, поговорить надо.

– Давай завтра, – сразу отмахнулся он и прошёл мимо меня на кухню.

Я прошла за ним.

– Пап, а мама меня точно родила в семь месяцев?

– Что? К чему такие вопросы? – он хотел выйти из кухни, но я решительно загородила проём.

– А в мае 1992 года мама никуда не ездила без тебя отдыхать? Может, вы что-то от меня скрыли?

Он легко мог оттолкнуть меня и рявкнуть, но вместо этого он впервые передо мной виновато опустил голову. Он сел за стол, а я – напротив него. Мы молчали и не смотрели друг на друга. Никто не решался заговорить первым. Я больно вдавила себе в палец ноготь и спросила:

– Так отдыхала или нет?

– Да.

– Одна? Где?

– Какое это имеет значение? – злился он.

– Для меня огромное. Вера меня нагулянной мерзавкой назвала. А мама на фотографии стоит с каким-то моряком.

Я положила фотографию на стол. Но отец даже не взглянул на неё.

– Язык её поганый! – выругался отец и задышал тяжело. – Да и Тайка хороша: не смогла из-за своей желчи язык за зубами держать. Хороша сестрёнка, а дочурка в неё.

Он приложил руку ко лбу. Я налила ему стакан воды.

– Нет, – резко отодвинул стакан отец, – я лучше коньяку.

Я подала ему непечатую бутылку. Он плеснул себе полстакана и залпом выпил.

– Больше не пей: у тебя сердце больное.

– И своё таким же сделать хочешь. Зачем?

– Мне всегда казалось, что вся наша родня считает меня чужой. И я хочу знать, почему.

– Почему... – Он налил ещё немного и выпил. Но продолжал молчать, словно ждал вопросов, а сам рассказывать не спешил.

– Значит, я не твоя дочь? – спросила я.

– Моя. Была моей и моей останешься, – сердито ответил он.

– А биологически.

– А биологически... – он снова хотел плеснуть коньяку, но я забрала стакан. – Биологически мама родная.

– Значит, ты не мой отец?

– Что значит не твой? – совсем рассердился он. – Раз растил, воспитывал – значит, твой.

– А настоящий этот? – ткнула в фотографию. – Ты его знаешь?

– Не знаю, слава богу. Узнал бы – убил бы! Всё! Не хочу об этом больше разговаривать. Ты моя дочь – и точка!

Он резко встал, неосторожно отодвинув стол своим большим телом в мою сторону, и стряхнул фотографию со стола. Забрал коньяк и вышел, всё приговаривая: «Глупые курицы... не могли промолчать... клуши...»

Мне стало очевидно, что больше ничего он мне не расскажет. Я решила во что бы то ни стало узнать всю правду, какая бы она ни была. Но отца я не хотела мучить. Поэтому на следующий день я отправилась к тётке Тае. Едва она открыла дверь, не здороваясь, я уверенно произнесла:

– Я знаю, что вы мне не родная тётя.

– Саша рассказал?

– Не до конца. Не хочет.

– А ты хочешь?

– А вы бы разве не хотели всё узнать?

Она пожала плечами, но впустила меня.

– И что же он тебе рассказал? – Она села на диван, вжимаясь в его угол, словно приготавливалась обороняться. Я села на краешек кресла.

– Что мама в мае 1992-го года одна ездила в Петербург. И познакомилась с моряком.

– Да, – ответила она. – Всё так и было. Мама твоя всегда мечтами жила, принца, видимо, ждала. Даже родителей не послушала: не стала учиться на врача, продолжать семейную династию. Поступила в театральное. По распределению приехала в наш театр. Вся такая лёгкая, романтическая. Саша влюбился в неё с первого взгляда. Сразу со мной и родителями познакомил. Поженились они уже через полгода после знакомства. Глупые, – усмехнулась она. – Но, видимо, Саша никудышным принцем оказался. Пока мы с ней дружили, она жаловалась мне на него. Он ведь строгий, упрямый и жёсткий. Жил только работой. Театр любил больше, чем родную семью. Хотя сначала они жили в гармонии. Он постоянно старался задействовать её в постановках, хотя завистницам не нравилось, как она играет. Особенно главной актрисе театра... Но разве этим любовь надолго купишь? – тётя Тая покачала головой и продолжила. – Однажды она в Петербург поехала к подружке. Сашу

звала с собой, но он отправился на гастроли. Сказал ей: «Ты без меня справишься, а за группой, как за детьми, следить надо». Вот она одна и поехала. И встретила там молодого паренька... Кем он точно был: простым матросом или морским инженером, – не знаю. Закрутился у них роман. Она позвонила мне через две недели и сказала, что не вернётся. Что Саше боится рассказать, поэтому просила, чтобы я его подготовила к этому разговору. В жизни не встречала такой наглости! – Тётя Тая поджала губы и продолжила более резко. – Я ничего ему не собиралась говорить. Отругала её, чтобы она сама ему всё рассказала.

Но она так и не решилась. Ещё две недели прошли, прежде чем Саша заволновался, что ни она, ни её подруга не отвечают на телеграммы.

Заявился ко мне. «Что делать? Надо в милицию обращаться!» – говорил он, чуть не плакал. Пришлось сказать, что жена его не вернётся. Он в ответ только обругал меня, назвал лгуньей и ушёл домой, где его уже ждала у порога загулявшаяся жёнушка.

Она ему всё рассказала. Как познакомилась с этим морячком, как роман у них завязался. Как они хотели вместе в Петербурге остаться жить. Но его семья Ирину не приняла. Они уже выбрали для него другую девушку. И осталась Ирина ни с чем. Вернулась домой. Как только духу хватило?

А Саша простил. Слишком сильно её любил. Даже когда узнал, что она беременная к нему вернулась, не выгнал. И нам сказал, что это его ребенок. А когда я пыталась его вразумить, он только нагрубил. Все были против, не только я. Но все замолчали, потому что и мама моя настояла, чтобы мы забыли этот случай.

Тётя Тая замолчала. По её лицу потекла слеза.

– Больше меня мама любила Сашу, но я не ревновала. А то, что она потакала Ире, дочкой её называла – это не могу простить. Ни ей, ни матери. И на тебя смотреть не могу: ты мне её напоминаешь.

Я встала. Ни злости, ни облегчения не почувствовала.

– Расстроилась, что узнала правду?

– Нет. Это вы расстроены.

И ушла.

Ушла в себя. Впала в состояние, словно решаешь длинное математическое уравнение на доске: в самом начале поставила не ту цифру, поэтому результат оказался ложным. И все это видели, но никто не сказал. Я понимала, что со стороны отца ложь была во благо. Поэтому я не держала на него зла. Ни на кого. Но и оставаться уже здесь не могла.

Когда вернулся отец, я не сразу вышла из комнаты. Подождала несколько минут, собираясь с духом.

– Ника, ты дома?

– Дома! – громче обычного ответила я и вышла.

Отец сидел в зале, в кресле. Он посмотрел на меня. В его уставших глазах, холодных,

как арктическое море, отразились не то тревога, не то удивление. Он нахмурил брови, задавая немой вопрос.

– Я хочу бросить академию.

– Почему? – строго спросил он.

– Я хочу стать инженером. Я хочу учиться в Петербурге, в морской академии...

На несколько секунд он замер. Затем тяжело кивнул головой и отвернулся. Я подошла к нему и присела у его ног, положив голову ему на колени. Выдержав паузу, он погладил меня по волосам, слегка их взъерошив.

– Но ты вернёшься?

– Конечно, папа...

Мы молча доиграли эту сцену. А на следующий день вечерним поездом я уехала в Петербург. Драгоценности я оставила на столе.